

Почему люди так глухи друг к другу? Болью измучат, словом избьют, – а потом, страдая, безрадостно пьют горькую в одиночестве. «Ну-ну, ти, маленькая... ну-ну, ти, рыженькая... ну-ну, ти, Римулька моя, Господь с тобою!.. не плачь, не печалься, детонька, всё пройдёт...» – звучит тихий голос в моей памяти. Тёплые руки, уютные колени, мягкое родное объятие, свет, льющийся из добрых глаз... Это бабушка.

Я любила у неё бывать, поскольку росла вольной птицей и притом с малолетства чувствовала себя в ответе за всё вокруг происходящее. В куклы и в привычные многим девочкам «дочки-матери» в детстве практически не играла. Кукла – мёртвая натура; гладкий холод пластика или резины вкупе с искусственно создаваемым, притворным существованием человекообразной игрушки мне претили: «Вот ты, кукла Юля, теперь *как будто* завтракаешь... а теперь *как будто* идём с тобою в парк, а теперь давай-ка спать!..» – и в этот момент бездушному лупоглазому телу надо было ноги передвигать, руки поднимать-опускать, или усаживать его, или укладывать. И всё оно, это действие, – ненастоящее, «понарошку». И потому – зачем оно? То ли дело – всё живое, неуловимо меняющееся, требующее личной причастности, неперемennого присутствия, действия и осмысления. Вот это влекло детскую душу: мне нравилось петь и читать, задачки по физике и математике решать, сочинять истории, рисовать, цветы сажать, играть в футбол и извлекать волшебные звуки из клавиш фортепиано, по крышам-заборам лазить, птиц кормить, смотреть, как восходит луна, как звёзды проявляются острыми лучиками в меркнушем небе...

Мы с родителями жили в центре города в коммуналке, где на небо редко поднимают взоры и живая земля закрыта-закатана асфальтом. А бабушка обитала совсем в другом мире: одна в домике на окраине, притулившемся среди цветущих трав и заманчиво благоухающих соседских садов, в окружении славных – живых и настоящих – ребячьих друзей: весёлых или грустных бродячих собак, ленивых и игривых кошек, важных петушков и хлопотливых кур, да мало ли чего ещё!.. Там, на заросшей муравой и лопухами, почти непроезжей улице, иногда раздавался возглас: «Точу ножницы!.. полужу посуду, заберу ненужные вещи!..» – это бородатый дядька – старьёвщик, точильщик и лудильщик в одном лице – со своей гружёной тележкой проезжал мимо. Он дарил ребягте в обмен на какую-нибудь не подлежащую починке домашнюю вещьцу маленький красный надувной шарик с пронзительным свистком, или вручал приторного леденцового петушка на палочке, или раскрашенную бумажную маску...

В бурной детской жизни моей не обходилось без синяков, ссадин и первых обид, и, если уж совсем бывало невмоготу, я прибегала, поскуливая, к бабушке. И тогда она, как в моём младенчестве, прижимала меня к себе и пела-приговаривала: «Ну-ну, ти, маленькая... ну-ну, ти, рыженькая... ну-ну, ти, Римушенька моя, Господь с тобою, не плачь, не печалься, деточка, всё пройдёт...» И проходило. Так и осталось: бабушка Маруся, Нунути.

Её назвали Мария – так же как и её мать, искусную рукодельницу-белошвейку. Марьюшка явилась на свет в начале прошлого века последним, двенадцатым ребёнком в семье моего прадеда-музыканта, а вскоре не окрепшая после родов прабабушка умерла в возрасте сорока шести лет в эпидемию гриппа, от которого погибло тогда людей больше, чем в Первую мировую войну. В те времена эту страшную болезнь именовали «испанкой».

Детство, юность и молодость Марии пришлись на пору социальных катастроф и распада Российской империи: мировая война, две революции, гражданская война, голод 1930-х годов... Зрелость совпала с лихолетьем Великой Отечественной и трудными послевоенными годами. Но удивительная красота бабушки – сияющие серо-синие глаза, белоснежная кожа, соболиные брови и чёрные, как вороново крыло, вьющиеся волосы – не угасала долго. Помня о ней, я и до сей поры люблю синеглазых, светложих и черноволосых людей – они как родня мне... Спортсменка, оптимистка, прекрасная чертёжница, перед войной Мария Васильевна работала на Воронежском механическом «шестнадцатом» заводе, дома умудрялась отлично готовить даже из скудного набора продуктов – на печке и керосинке, как многие русские женщины в те дни. Шила-вышивала, особенно любила лоскутное шитьё и аппликацию из ткани, ныне именуемые модным словом «пэчворк», да и вообще никакого труда не чуралась. В войну оказалась с дочкой Томочкой, моей мамой, в оккупации. В пересыльном концлагере на Западной Украине подорвала здоровье: в голоде и холоде носила мешки чуть не в центнер весом, чтобы покормить болящее дитя. И всю оставшуюся свою недолгую послевоенную жизнь страдала сердечной астмой, гипертонией и другими недугами, о которых мне ведомо не было: бабушка, потеряв мужа на войне, так и осталась вдовой и жила отдельно в крошечном домике на улице Ухтомского. Теперь уж ни улицы этой у Курского вокзала нет, ни самого домика...

Умерла Мария Васильевна мгновенно, на Благовещение, весной, едва расправившей крылья и растопившей серые снега – от разрыва сердца, во сне, в санатории имени Горького, куда её направили на лечение после жестокого приступа стенокардии. И было ей всего пятьдесят девять лет.

В моей жизни это была первая смерть, которая запомнилась детально и была глубоко осознана детским разумом. Я, тогда девятилетняя девчонка, болела – тоже гриппом, лежала с высокой температурой в постели, и дома не было никого из взрослых. В середине дня в дверь позвонил и вошёл, остановившись в полутёмном коридоре, невысокий, слегка сутулый усталый мужчина – кто-то из знакомых бабушки. Принёс тяжкое известие о её смерти, вздохнул, сказал «сочувствую...», оставил траурную бумажку – сообщение то ли от врача, то ли от администрации санатория – вместе с большим букетом кустовых хризантем, почему-то в банке. Бело-жёлтые цветочные головки на длинных стеблях как-то хищно торчали из баночного горлышка, являя собою торжествующий символ свершившейся смерти, и пахли так сильно, так навязчиво и тревожно... Я заплакала, но утешения не было – посетитель торопился и, машинально погладив меня по голове, ушёл. Без сил я опустилась на кровать. Температура всё жарилась, мысли мои путались, сердце колотилось, и голубые стены комнаты, казалось, придвигались ближе и ближе, готовые навалиться и задавить меня, а принесённые цветы тарачились из угла своими белыми и жёлтыми глазами, ничуть не сочувствуя свершившейся беде... Сжавшись в углу кровати, я думала о том, как мама вернётся с работы и как мне придётся отдать ей это страшное послание, и, наверно, она заплачет. И боялась думать о том непонятном, что будет потом...

Тогда случился мой первый приступ астмы. Голова загудела, в глазах поплыли бело-жёлтые круги, дыхание прервалось – и, казалось, мне больше никогда не вздохнуть. С трудом поднялась я с постели, приоткрыла окно на пятом этаже и, держась за раму, шёпотом позвала: «Баушка, Маруся моя, Нунути!.. где ты? откликнись!..» Силы вдруг вернулись, спазм ушёл, лёгкие словно расправились – и я смогла вдохнуть холодный весенний воздух. Сначала неглубоко, осторожно, потом всё глубже и спокойнее дышала и смотрела на прозрачное безоблачное небо, где витала душа моей Нунути...

Похоронили Марию Васильевну на Коминтерновском кладбище. Шёл Великий Пост, день был пасмурный, а свежая могила, помню, была усыпана всё такими же безразличными к человеческому горю белыми и жёлтыми кустистыми хризантемами (и не сезон на них был тогда, откуда взялись – кто знает?). И в их мертвенное тяжёлое благоухание вплеталась моя боль от внезапной потери близкой души – они пахли смертью. Дрожащая от слабости и утраты, я молила тогда: «Прости меня, моя Нунути! знаю, ты сказала бы: и это пройдёт, рыженькая, Господь с тобою... И с тобою, родная моя, пусть будет Господь, пусть будет Он всегда с тобою...»

С тех пор друзья не дарят мне этих цветов.